

Женские судьбы.
Уютная проза
Марии Метлицкой

Мария Метлицкая



В тихом
городке у моря



Москва
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М54

Оформление серии *Петра Петрова*

Метлицкая, Мария.

М54 В тихом городке у моря / Мария Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2022. — 480 с.

ISBN 978-5-04-118159-8

Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким солнцем его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. А главное — здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он придет на берег с маленькой девочкой Асей, дочерью своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, не подозревая, что придет время, и эта недолюбленная, никому не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный в его жизни.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Метлицкая М., 2021
ISBN 978-5-04-118159-8 © ООО «Издательство «Эксмо», 2022



Пролог



Иван сошел с поезда ранним утром, в полшестого, когда солнце еще не поднялось на окончательную пугающую высоту, обещавшую тяжелую и изнуряющую жару — юг, середина июля. Оно еще было мутновато-белым, словно прикрытым марлей, и пока еще вполне гуманным.

На этой маленькой, совсем небольшой станции поезд стоял всего пару минут — ну и достаточно! Тех, кто поспешно, растерянно оглядываясь, спрыгивал с дырчатых металлических ступеней на не остывший за ночь, все еще теплый, растрескавшийся асфальт, сквозь который буйно и нагло перли пучки пожелтевшей от зноя травы, было совсем немного, всего человек пять или шесть.

Выплюнув незначительных, как и сам пункт прибытия, пассажиров, поезд сердито фыр-

кнул и с натугой тронулся дальше. Там, в его душном, прокаленном чреве, оставался народ поважнее — полноватые, лысоватые, хмурые мужчины в домашних пижамах и их попутчицы, тоже важные, хмурые и почему-то всем недовольные корпулентные дамы, старательно пытающиеся восстановить прически, свалявшиеся за душную и оттого бессонную ночь. В купе с и так застывшим, словно замершим воздухом невыносимо пахло удушливыми цветочными сладкими духами. С недовольными лицами и нескрываемым пренебрежением оглядывая друг друга, дамы занимали очередь в туалет и морщили носики — пахло оттуда ужасно.

Важные мужчины и их не менее важные спутницы ехали на югá — на курорт, к теплому морю. Там их уже поджидали улыбчивые медсестры и массажистки, внимательные, вежливые врачи, румяные, сдобные повара и ласковые, предупредительные горничные. Всё и все были готовы к их приезду.

Просторные номера ведомственных санаториев, с высоченными потолками, балконы с гипсовыми балясинами, мягкие перины и белоснежное, накрахмаленное белье, прохладный боржом в зеленых бутылках на прикроватных тумбочках. И красные ковровые дорожки на широченных мраморных лестницах. Из столовой на свободу рвался сладковатый запах

теплой сдобы, а в просторных, широких коридорах источали нежный аромат азалии. Парк в санатории был красив и ухожен — ровные дорожки из мелкого гравия, пышные клумбы с розами и георгинами, аккуратно подстриженные пальмы и голубые пушистые елки.

Здесь хмурым мужчинам и их спутницам предстояло провести двадцать четыре дня спокойной, размеренной жизни: все по расписанию, все на курортном листке, все для драгоценного здоровья, растраченного во имя и во благо родины!

Еще в поезде, точнее в тамбуре, когда выходил покурить, Иван бросал короткие взгляды на эту публику, и ему было смешно. Пары, конечно же, были семейными — а кто, извините, отправится в отпуск с дамой сердца? Конечно, никто — возражается. Только со своим самоваром. Эти важные дяденьки, партийные боссы и большие начальники, тащили с собой своих соратниц и верных (как правило) жен. Уже избалованных и — когда успели? — надоевших, если по правде, по самое горло. А любовницы, молодые и легконогие, веселые и ласковые, оставались дома, в своих коммунальных комнатках или общагах. Ну а кому повезло — в собственных, отдельных, квартирах.

Иван бросал на них косые взгляды и усмехался. Уж в провинции, он был уверен, народ точно попроще и подушевнее.

В то раннее утро, когда Иван спускался с чугунных ступенек вагона, важные мужья и их недовольные жены еще крепко спали — на курорт поезд прибывал через четыре часа. Проводница широко зевнула, клацнула дверью вагона и в который раз пожалела себя: «Эх, не поспать! Пора заводить титан — *эти* скоро проснутся — и понеслось!»

Иван стоял на перроне, жмурился от уже вполне нахального солнца и улыбался. «С прибытием! — поздравил он себя. — Ну, кажется, прибыл. Привет тебе, новая жизнь! А уж какой ты окажешься, кто его знает!»

Так он ободрил себя и, подхватив потертый тканевый, в сине-зеленую клетку чемодан, двинулся в обветшалое здание вокзала: облезлая желтая штукатурка, три такие же облезлые гипсовые колонны и гипсовый бюст вождя — все как положено, все как обычно, как везде.

В здании вокзала было прохладно, тихо и почти безлюдно. Две бабки ворковали, склонив друг к другу седые головы, тощий мужичок, прикрыв лицо помятой кепчонкой, похрапывал на скамейке и явно смущал товарок, бросавших на него беспокойные взгляды.

Киоск «Союзпечать» был еще закрыт, тучная, немолодая уборщица в синем халате, позевывая, вяло возила тряпкой по полу из серой гранитной крошки, а за буфетной стойкой

пышногрудая — как всегда! — буфетчица протирала стаканы и раскладывала по тарелкам вчерашние булочки и бутерброды с подсохшим сыром.

Иван оценил обстановку и, выдохнув, бодро направился к буфетной стойке — крепкий сладкий чай и булочка, пусть даже вчерашняя, ему точно не повредят. А заодно и завяжется разговор — вокзальные буфетчицы знают все, такая профессия.

При ближайшем рассмотрении буфетчица оказалась молодой хмурой женщиной с длинным, недобрим белесым лицом.

Иван взял стакан чая, два кусочка рафинада, обернутых в бумагу, и булочку с изюмом. На вопрос, свежая ли, буфетчица неопределенно повела плечом — понимай как знаешь.

За серым мраморным столиком на длинной ноге Иван выпил свой чай. Булочка, кстати, оказалась приличной. Потом вернулся к стойке.

— Комнату? — Буфетчица снова зевнула. — Надолго?

Услышав ответ, посмотрела на него уже с интересом и повторила с усмешкой:

— На неопределенный срок? Ты отдыхающий или как?

— Или как, — усмехнулся Иван.

Не стесняясь, она пристально оглядела его и, посмотрев на вокзальные часы, висящие напротив, свела брови и хмуро бросила:

— Жди! Через полчаса смену сдадим, тогда и будет тебе комната! В лучшем, так сказать, виде. — Потом она обернулась и громко крикнула: — Любка!

В дверном проеме возникла молодая черно-волосая женщина с недовольным лицом.

— Поди-ка сюда! — приказным тоном велела буфетчица. — Разговор тут имеется.

Вытирая руки о нечистый фартук, вызванная буфетчицей Любка нахмурила брови и медленно, нехотя подошла.

— Чего еще? — недовольно буркнула она. — Я еще не закончила.

— Квартиранта тебе нашла! — Буфетчица усмехнулась, показав ряд золотых зубов. — На неопределенный срок, слышь? Да о таком только мечтать, а? Короче, с тебя бутылка!

Любка взглянула на Ивана и покраснела.

— Тебе, что ль, комната?

Он кивнул:

— Мне.

— Подумать надо, прикинуть. Подожди, я через полчаса буду свободна. А пока погуляй, что ли? Проветрись.

— Понял. Через полчаса, значит? Ну пойду во двор, покурю. А заодно и проветрюсь.

Он вышел на улицу. Всего-то полчаса прошло, а солнце уже набрало! А что же днем, после полудня? Настроение немного подпортилось, но он тут же отругал себя, запретив

думать о неприятном. В конце концов, он ехал на юг. Мечтал жить у моря. А то, что жара... Так лето же, самый разгар, верхушка. Ну не Африка же — попривыкнет! После туманного, серого, сырого и влажного Питера уж точно будет отлично.

При воспоминании о Питере заныло сердце — боже, какой он дурак! Разве можно сбегать от Питера? Вынуть, выкорчевать его из сердца? Оказалось, что можно. Как когда-то он вырвал из сердца Москву. Да и вообще — можно, нельзя... Надо. Иначе его просто не будет. Его и так уже почти нет, а еще немного, еще чуть-чуть — и не будет вовсе.

И раз он решился, то назад пути нет. Нашел силы попробовать, значит, найдутся и силы жить.

Любка появилась через полчаса, как и было условлено. При свете дня он увидел, что ей немного за тридцать, но ее красивое смуглое, чернобровое лицо было усталым, изнуренным, каким-то пожившим. Она была среднего роста, хорошо и крепко сложена, с ладной и аппетитной фигурой, тонкой талией, широкими бедрами, с большой, уже вяловатой грудью, нагло выпирающей из тесноватого сарафана.

— Ну что? Двинули? Или уже передумал? — поинтересовалась она.

Иван поторопился ответить:

— Да, да, конечно же, двинули. Не передумал, не беспокойтесь.

Любка оглядела его оценивающим, очень женским и довольно нахальным взглядом, словно прицениваясь — нужен ей такой жилец или нет.

Шли минут двадцать. Она — резво, не сбавляя темпа, Иван — с трудом поспевая за ней: жара, уже вполне ощутимая, бессонная, тревожная ночь в поезде, чемодан с неудобной ручкой, режущей ладонь. Ну и нога. Столько лет, а он все не мог привыкнуть. Шел, перекладывая из руки в руку чемодан и палку и отирая со лба пот.

— Далеко еще? — не выдержав, спросил он.

Любка обернулась:

— Устал?

Он разозлился и коротко бросил:

— Нет. Просто вранья не люблю. Говорила же — рядом!

«Может, зря я с ней? — подумал он. — Злая ведь баба. Видит, что с палкой».

— Пришли уже, считай, — буркнула она. — Теперь уже рядом.

И вправду, минут через пять Любка остановилась у низкого забора, сто лет назад выкрашенного в голубой «веселенький» цвет, давно полинявший и выглядевший неряшливо.

— Ну вот, пришли. А я смотрю, ты истомился!

Она стояла напротив него и, шурясь от солнца, нагло, беззастенчиво и бесцеремонно, не скрывая насмешки, снова разглядывала его.

Он видел ее красивое и недоброе лицо, темные, почти черные глаза в мелких, разбегающихся от края глаза к виску морщинках, крупный, красивый, яркий рот, грубые, неухоженные руки, крепкую длинную смуглую шею с ниткой дешевых пластмассовых бус и темные пятна, расплывшиеся в подмышках. Удивился: «И ей, привычной, местной, тоже жарко. Что говорить про меня? А хороша, — подумал он. — Но совсем не мой типаж. Слишком все выпукло, слишком ярко, слишком нахраписто. Все — слишком. И баба нахальная, и красота ее такая же — грубая и нахальная».

А Любка вдруг смутилась, нахмурила длинные, красивые, темные с отливом брови.

— Давай заходи! Сейчас отдохнешь. — Она принялась открывать калитку.

Ключ заедал, не хотел проворачиваться, но Иван намеренно не помогал. Еще чего! Сама разберется. Тоже мне, цаца!

А на душе было муторно, тяжело. Зачем? Зачем он затеял все это? Какая глупость, господи! Разве спрячешься от себя, разве убежишь? Нет, из города можно. Даже от женщины можно! А вот от себя — вряд ли. Себя повсюду та-скаешь с собой. И жара эта, и посудомойка — странная баба, недобрая. Это сразу понятно.

Ладно, что тут. Переночую, положу рубль на стол — и тю-тю! Не останусь наверняка. Не нравится мне эта Любка.

Наконец калитка поддалась, распахнулась, и Любка обернулась к Ивану:

— Ну заходи! Будем знакомиться.

После пустынной и жаркой улицы сразу пахнуло свежестью. Двор был тенистым, заросшим. Это, конечно, его обрадовало — выдохнул с облегчением. Нет, все-таки жара не для него. «Ладно, чего уж. Поглядим — посмотрим», — сказал он про себя.

Приговорка эта была от деда, любимого Степаныча. Тот так говаривал, когда ситуация жизненная была неясной, сложной или запутанной. «Поглядим — посмотрим», — и становилось легче. Это предполагало заменяемый и вполне приемлемый вариант. Выход, как говорится. Вариантов всегда несколько — тоже дедовы слова. Только надо хорошенько во всем этом дерьме покопаться.

Под разлапистым каштаном — Иван узнал его по крупным и резным листьям — стоял темный, кривой стол, за которым сидела старуха — тощая, темная, почти черная, с крючковатым носом и полузакрытым темным веком правым глазом. На маленькой сухой голове был накручен платок. Старуха Изергиль — тут же окрестил ее Иван. Страшная, прости господи, чистая баба-яга! Старуха перебирала

черные ягоды. «Тутовник», — вспомнил Иван. Старухины скрюченные, страшные пальцы были окрашены в темно-фиолетовый, почти черный цвет.

Вскинув голову и высоко задрав подбородок, баба-яга спросила скрипучим, резким, каркающим голосом:

— Опять привела?

— Жилец это, — коротко ответила Любка. — На вокзале словила.

На его робкое «Добрый день, уважаемая» старуха ответить не удосужилась, но взглядом, цепким, недобрым, острым и метким, как пуля, все же удостоила — и на том спасибо.

Было понятно, что это мать и дочь. Невзирая на яркую красоту молодой и абсолютную уродливость старой, сходство у них все же просматривалось.

Любка досадливо махнула рукой: дескать, не обращай внимания, и кивнула в глубь сада:

— Ну чего встал? Пошли? Или передумал?

Не дожидаясь ответа, пошла вперед по узкой, виляющей тропке.

Иван обреченно пошел за ней.

Домишко — нет, сараюшка, развалина — был маленьким, низким, кривобоким, к тому же темным. Его почти не видно было со двора. Его опутывали, отгораживая от мира, густые кусты с крупными, темными, блестящими листьями.

Хозяйка толкнула покосившуюся дверцу:

— Проходи!

Иван шагнул через высокий порог.

Комнатуха неожиданно оказалась просторной — скорее всего, по причине почти полного отсутствия мебели и какой-либо домашней утвари. У подслеповатого оконца стояла узкая кровать с пружинной сеткой и проржавевшей стальной спинкой. На кровати, свернутый в трубку, лежал полосатый матрас. Сбоку притулилась кособокая самодельная тумбочка с гвоздем вместо ручки, на которой лежала раскрытая книга и стоял мутный граненый стакан с застывшим узором темно-красного цвета. «Вино», — догадался Иван.

На пол, на кое-как уложенные щелястые широкие доски, была брошена куцая и рваная циновка. Напротив кровати, у стены, стояли маленький стол с фанерной столешницей и хлипкая табуретка с отставленной в сторону ногой.

Но было прохладно, свежо, тенисто, словно на улице не набирала силу тяжелая дневная жара.

Иван растерянно озирался по сторонам и молчал.

— Что, не подходит? — с недобрим смешком спросила Любка. — Ну тогда прощевай! Ступай в гостиницу. Десять минут ходу, «Юность» называется. Только чья? Вот вопрос!

— Что — чья? — не понял он.

— Юность, — сварливо повторила Любка и нетерпеливо уточнила: — Так что, не подходит?

— Подходит. А там поглядим — посмотрим.

Она, кажется, удивилась, но ничего не ответила. Наверняка ее жильё спросом не пользовалось.

— Ну и устраивайся тогда. Обживайся. А я тебе постельное принесу. А потом все обсудим.

— А плата? — спросил он. — Это обсудим прямо сейчас.

— Дорого не возьму, не за что. Пятерку в месяц осилишь?

Иван кивнул.

Любка постояла на пороге, словно раздумывая: спросить — не спросить? Но любопытство пересилило:

— А чего приехал? Ну, в смысле сюда? Отдохнуть?

— За счастьем, — ответил он и усмехнулся. — А счастье — это покой. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Так вот, я за покоем. Да и море. Всегда мечтал жить на море.

Она покачала головой:

— За покоем, говоришь? Думаешь, если медвежий угол, провинция, значит, покой?

— Надеюсь.

— Да не надейся! — неожиданно зло, с отчаянием сказала она. — Море, говоришь? Да будь оно проклято, это море!

От растерянности и неожиданности Иван вздрогнул. Но Любка уже вышла из хибары, хлопнув кривой и щелястой дверцей.

В изнеможении он опустил на кровать. Пружины заскрипели, заныли.

«Зачем? — в который раз повторил он. — Зачем я приехал сюда, в эту глушь, в эту жару? Покой? А она, наверное, права — покоя нигде нет, нигде. Наверняка ей виднее. Покой — он в душе. В душе, и только. Но «если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Ладно, поглядим — посмотрим.



Москва



Москва, родной город где прошло его детство, их комната на Арбате, в Староконюшенном, давно ушли в прошлое. В далекое прошлое. Если бы не дед, воспоминания бы вообще стерлись, исчезли, как не было. Да они и остались смутными, смазанными, словно припудренными. Но тогда точно было счастье — Иван это понял позже, потом.

Но по порядку.

Их комната в Староконюшенном. Первый, почти цокольный, этаж, темная, «слепая», как говорила бабка, прихожая и три двери напротив из крошечного коридора — Нинки Сумалеевой, Митрофаньча и их, Громовых. Деда Петра Степановича и бабки Марии Захаровны. Ну и его, «приживалы». Подкидыша Ваньки.

Комната была странной, полукруглой. Бабка ругалась, что из-за «этих чертовых круглых

углов» не встает ровно мебель, бабка называла ее обстановкой. Хотя какая там обстановка, смешно! Две кровати, деда с бабушкой и его, внука. Маленький кованный сундук с «постельным», стоявший под широченным подоконником, на котором Ваня в детстве играл. Узкий шифоньер с одеждой и овальный стол, за которым завтракали, обедали и ужинали. Да, и самая главная драгоценность: бабушкина этажерка из красного дерева с ее же «наследством», над которым подтрунивал смешливый и колкий дед.

Бабка Маруся была страшной аккуратисткой и мещанкой, по словам деда: крахмальные, кипенные занавески на окошке, на подоконнике — малиновая и бледно-розовая герань. Коврик на стене и шелковое голубое, в золотых завитушках, «богатое» покрывало на высокой кровати. Тоже, конечно же, обильно украшенное пышными и высокими пуховыми подушками.

На хлипконогой этажерке стояло бабушкино богатство — серые мраморные слоники в ряд. В детстве Иван обожал в них играть и изувечил их — некоторые после игрищ остались без хобота, другие без уха, а то и без ноги. Старший, самый большой, был, конечно же, военачальником. Ну а остальные делились по росту и, соответственно, званиям. «Армия калечных вояк», — смеялся дед.

Кроме слоновьей армии на этажерке при­тулились две чашки с голубыми розами — тонкие, полупрозрачные. Трогать их категориче­ски не разрешалось. Чашки были наследные, из бабкиной когда-то зажиточной московской купеческой семьи.

Да, две чашки, слоны, серебряная сахарни­ца с поломанным замочком и два бокала руби­нового мальцевского стекла, девятнадцатый век. На одном из них был крошечный скол, и бабка переворачивала бокал сколом к стене. Трогать бокалы на позволялось, но в итоге Иван, конечно, один кокнул — именно целый, без скола.

Бабка орала как сумасшедшая, а дед хмурил густые светлые брови, молчал, а потом резко крикнул:

— Ну хватит! Всё. Разошлась из-за говна-то!

И бабка, как всегда, притихла — дед был в семье главным, хотя бабка и нападала на не­го, чего уж там.

Ванины родители, блудные — как называла их бабка, — появлялись в Староконюшенном редко. А вот сына подкинули рано — в полто­ра года он окончательно переселился к бабке и деду. Отец, лейтенант, получил свое первое назначение в Казахстан.

Родители от ребенка не отказывались — на этом настояла бабка: пугала их климатом, неподходящими условиями, отсутствием нор-

мальной, «человеческой», по ее словам, еды. «Верблюжье молоко, говорите? Конина? Ешьте сами мясо с волосами!» — Бабка могла быть хамоватой, да и особенно не стеснялась. Кого стесняться? *Эту?* Невестку, мать любимого внука, бабка ненавидела до зубовного скрежета.

— Ваня останется у нас! — безапелляционно заявила она. — Нечего мотать ребенка по степям и жаре! Здесь, слава богу, он будет в нормальных условиях.

Дед ее поддержал. Это все и решило.

— Хотя бы на пару лет, — коротко сказал он. — А там заберете!

— Заберем, — обиженно ответил отец. — Не сомневайся.

Мать промолчала. Потом он узнал — она не возражала против того, чтобы оставить его в Староконюшенном. Даже рада была, по словам бабки Маруси.

Письма из Аршалы приходили нечасто — и писал их отец. Подробно описывая тяготы местной жизни и невыносимый степной климат. Про то, что обещали забрать сына, — молчок. Вроде бы есть оправдание. Бабка поджимала губы и швыряла очередное письмо на подоконник. Дед смотрел осуждающе, брал письмо и уходил на кухню — перечитывать, «вникать в подробности».

Так прошло четыре года. Маленький Ванька уже кое-что понимал и слушал по ночам, как бабка от души поливает его мать. Обидно ему не было — мать была для него уже чужим человеком. Да и лицо ее он помнил приблизительно, расплывчато.

Впервые в отпуск родители приехали спустя три года. Ванька страшно смутился, когда отец, чужой человек, протянул к нему крупные руки, пытаясь его поднять. От него крепко пахло табаком и кожей от ремня.

Мать, Лиля, стояла у двери, разглядывая сына.

Ванька резво выскочил в коридор и заперся в туалете. Вытащил его оттуда дед, уговаривая долго, терпеливо и ласково.

Пили только чай — стол хозяйственная и хлебосольная бабка дорогим гостям не накрыла. На столе стоял пышный высокий торт, принесенный родителями. Он запомнил, что бабка, известная сластена, к нему не прикоснулась. А дед сладкого не ел в принципе — чай пил с любимым постным сахаром, который обожал и внук Ванька. Желтый, розовый, фиолетовый и зеленый, круглый или квадратный, ломкий и сверкающий, как первый снежок.

И отец, как и бабка, торт не ел, да и чай, кажется, тоже не пил. А мать почему-то плакала, правда почти бесшумно, уткнувшись лицом в носовой платок, нелюбезно протянутый

бабкой с довольно грубым «утрись!», и жаловалась на «невыносимые жизненные условия».

Наконец дед, до того сидевший молча и постукивающий костяшками пальцев по скатерти — признак высочайшей степени раздражения, — резко сказал:

— А зачем за военного шла? Думала, сразу за генерала?

Мать замолчала, икнула и испуганно посмотрела на свекра.

Все замолчали.

Ванька сидел на кровати и исподтишка разглядывал родителей.

Отец ему определенно нравился, потому что был похож на деда: такой же крупный, «сучковатый», как говорила бабка. С большими ладонями, широкими плечами и мощной «бычьей» шеей. Широкий «картофельный» нос, густые, кустистые темно-русые брови и пронзительная синева глаз, сохранившаяся до самой старости и по наследству перешедшая Ивану.

Отец ему понравился, а вот мать, пожалуй, не очень. Была она маленькой, очень худой и «невыразительной», по словам все той же острой на язык бабки. Правда, что это значит, Ваня не понимал. Лицо у матери было маленькое и узкое, нос — короткий и острый, глаза серые и тускловатые — суконные. И какой-то скукоженный, «подобранный» рот — куриная

гузка. Плакала мать некрасиво, тряся головой в мелких кудряшках. Правда, кто плачет красиво?

В комнате висело глухое, тревожное и тяжелое молчание, прерывающееся только громкими глотками деда, с чем бабка всегда боролась. Но надо сказать, безуспешно. Бабка называла деда ваклахом, намекая на его крестьянское происхождение. А тот не обижался, посмеивался:

— Ну да, это вы у нас аристократы! Как же, столбовые дворяне — ни больше ни меньше!

Тягостная обстановка Ваньке надоела, и он отпросился во двор. Бабка тут же, что странно, его отпустила, впервые не дав указаний: со двора не уходить, в угольный подвал не лазать, на деревья тоже, к дворнику Абдуле не приставать и с Митькой Кургановым не драться.

Ваня с облегчением выскочил во двор — взрослые ему надоели.

Когда он вернулся, — начался страшный ливень, — отец и мать уже толкались в прихожей, собираясь уходить. Отец достал из кармана увесистую пачку денег и протянул ее бабке. Та было хотела ее взять, но тут же вздрогнула и с испугом посмотрела на мужа.

— Нам не надо, — сухо и твердо сказал дед, — справляемся.

— Хватит, батя! — устало ответил отец. — Хватит, ей-богу! А мы-то для чего?

— А вот этого я не знаю! И что-то никак не пойму! — глухо отозвался дед и, не попрощавшись, пошел в комнату.

Мать подошла к нему и присела на корточки.

— Ваня, мальчик! Мы завтра уезжаем. Но вернемся через пару недель, на обратном пути. Пойдем тогда в зоопарк? Ну, или в кино, а? — Она жалобно смотрела на него, хлопая мокрыми ресницами. Пыталась погладить по голове — он увернулся.

Потом подошел отец и взглянул на Ивана внимательно, словно изучая. Не выдержав его взгляда, Ванька отвел глаза. Отец погладил его по коротко стриженной голове и неловко чмокнул в макушку.

Вышли молча, провожать до лестницы не стали, хотя и было принято гостей провожать.

Когда хлопнула входная дверь, бабка плюхнулась на кровать, закрыла лицо руками и разрыдалась. Дед стоял у окна и молчал. Спустя пару минут бросил:

— Хватит, Маруся! Ничего не попишешь, будет как есть. Успокойся.

Ночью Ванька слышал бабкин горячий шепот:

— Стерва, сволочь! Какая она мать? На море они едут! В санаторий! Устала она, а? Отчего, ты мне не скажешь? А ребенок? Ему моря не надо? А им ребенка не надо? Три года не

видели! Ненавижу ее, ненавижу! Всю жизнь ему сломала! И что он в ней нашел, а? Уродина ведь! Ни рожи, ни кожи! Хитрожолая гадина! Специально ведь подстроила все, пузом приперла! Знала ведь — он, дурак, не откажется! Потому что приличный. Вот идиота мы воспитали!

Бабка громко всхлипывала и глухо сморкалась. Дед молчал. Потом Ваня услышал, как он сказал свистящим шепотом:

— Спи уже. И мне дай. Все, закончили. Ничего не исправить. Будем жить, как жили. Спи, Маруся.

Но бабка еще долго что-то шептала и снова сморкалась. А потом Ванька уснул.

Никакого «на обратном пути» так и не было — потом он узнал, что родители вернулись в Казахстан через Ленинград — мать захотела повидаться с подругой. Выходило, что бабка права: никакой ребенок ей не нужен, подруга важнее.

Потом, когда бабки уже не было, он спросил у деда, за что бабка так ненавидела его мать.

— А за что ее было любить, Ваня? — ответил дед. — Женой она была никакой, хозяйкой тоже. Матерью — сам знаешь. А вот деньги любила. До невозможности любила, нездорово. Отца твоего корила — мало все, мало. На то не хватает, на это. Ну а потом... Ты же зна-

ешь — бросила его. Нет, это, конечно, не плохо, а очень даже хорошо! Но сам понимаешь — неправильно. Выходит, Маруся, бабушка твоя, была права.

Родною со стороны матери Иван помнил плохо. Семья ее жила в поселке под Шатурой, матери у нее не было, а были отец и брат. Работали они на торфоразработке и были людьми сильно пьющими. В Шатуру ездили всего один раз, и Ванька запомнил страшного пьяного мужика в старом ватнике, курящего на крыльце дома. Мать тут же начала с ним скандалить, и отец, взяв Ваньку на руки, ждал мать за калиткой. Потом узнал — материн отец, его дед, болел туберкулезом. Мать всегда боялась от него заразиться и заболеть. Потому и сбежала из дома в пятнадцать лет. А ее брат, Ванькин дядька, сел за пьяную драку. В тюрьму к нему мать не ездила и посылок не отправляла — говорила, что зачеркнула ту жизнь навсегда.

Дед еще работал, но по утрам вставал уже тяжело — сначала спускал отекающие, в крупных синеватых «реках» вен ноги и долго сидел на кровати. Потом, кряхтя, брал полотенце, кидал его на плечо и шел умываться. Следом просыпалась бабка, глядела на часы и охала. Вскликала она моментально, без промедления, и тут же бросалась на кухню — ставить чайник и делать деду яичницу. Всегда, во все времена, на завтрак дед ел одно и то же — яичницу из

трех яиц, только глазунью, и три ломтя белого хлеба с маслом. И не дай бог, если яйцо ратечется — тогда бабка получит по полной.

Требовательным или капризным дед не был — ему было все равно, что носить, на чем спать и из чего есть. А вот яичница была делом святым.

С работы он приходил в семь вечера. Выпивал стакан крепкого чая и тут же ложился, а через пару минут раздавался его мощный храп. Спал он от силы минут двадцать, вставал бодрым и веселым и тут же звал внука.

Ванька ждал, когда дед проснется и наконец начнется интересная жизнь.

В хорошую погоду ходили гулять по Арбату, по Самотеке, по Замоскворечью. Иногда забирались и дальше — пешком доходили до Крымского моста, а там рукой подать и до Парка культуры. В парке забирались в Нескучный, вглубь, туда, где уже не было лавочек, но попадались поваленные деревья или пеньки, и усаживались передохнуть. Бабка всегда собирала им с собой четыре бутерброда — два с докторской, два с российским. В парке покупали бутылку сидро и пировали.

Казалось, о Москве немосквич дед знает все. Бродили по дворянской Москве и по купеческой. По выходным — опять же, в хорошую погоду — ездили в Загорск, Звенигород, в Абрамцево или в Мураново. Бывали и в Яс-

ной Поляне, у «Льва Николаевича», как говорил дед. Был он человеком читающим, русскую классику знал наизусть, «Клима Самгина» пересказывал почти дословно. Горького любил и жалел: время выпало ему — не дай бог! Ну и за все поплатился. Толстого любил, Куприна. Познал их уже в зрелости: в деревенской юности и в беспокойное время было, увы, не до чтения книг.

А вот бабка, вполне образованная, окончившая московскую гимназию, книг не читала: «Все врут, все неправда. Жизнь куда проще, — махала она рукой. — И все я про нее знаю. Зачем мне они?»

Бабка читала журналы «Здоровье», «Работницу» и толстую, засаленную и замызганную книгу «Домоводство».

В их прогулках бабка участия не принимала. Во-первых, больные колени. А во-вторых, хоть без вас отдохну!

Весной, как только подсыхало, они ехали в лес: брали с собой бутерброды и молоко в бутылке. Побродив по лесу, присаживались передохнуть — и начиналась трапеза. И ничего вкуснее этих скромных бутербродов с докторской колбасой и молока из бутылки с серебристой крышечкой из жесткой фольги Иван никогда не ел.

Дед, человек деревенский, конечно же, был и страстным, заядлым грибником. Уже в кон-

це августа начиналось его жгучее нетерпение. С антресолей доставалась большая корзина из ивовых прутьев, потемневшая от времени, кое-где чиненная, перевязанная лыком, но все еще крепкая. У Ваньки была своя корзинка — точнее, бабкина. Маленькая и почти плоская — клубничная. Бабка укладывала в нее ягоды для варенья, чтобы не помялись. Точился перочинный ножик с кожаной, вытертой до блеска ручкой. С тех же антресолей доставались высокие черные резиновые сапоги и старый облезлый ватник. К ватнику прилагалась кепчонка с кривым от времени козырьком.

Бабка, оглядывая деда в «грибной» обмундировке, криво усмехалась:

— Хорош! Смотри, чтобы в отделение не забрали. Ну чистый зэка! Как вчера возвратился.

Дед, находясь в предвкушении, счастливый и довольный, добродушно махал рукой — дескать, отстань.

Иван обожал эти грибные вылазки. Выезжали они ранним утром, примерно в полшестого. Как правило, было еще прохладно и даже зябко, порой покрывал дождь — начиналась затяжная подмосковная осень. В электричке Ванька, конечно же, засыпал. Да и дед, кажется, подремывал. Но станцию ни разу не пропустил. Были у деда свои места — личные, «намоленные и нахоженные».

Выходили на перроне, и дед, закидывая голову к синему сентябрьскому холодному небу, счастливо вздыхал и улыбался. В лесу шли параллельно, чтобы внучок не потерялся. Заглядевшись на интересную корягу или какую-то лесную невидаль, Ванька иногда отставал. Дед это чуял — тут же замирал, прислушивался и громко аукал. В лесу пели птицы, и он узнавал всех по голосам: иволга, пеночка, дрозд.

К шести годам Иван прилично разобрался в грибах — спасибо деду. Понимал, под каким деревом и в какой траве может притаиться красноголовик или беляк. Где брать опята, а где черные грузди — ох, до чего хорошо бабка их солила!

Находившись, присаживались на отдых — как правило, на кочку или поваленное дерево на краю поля. В полдень становилось жарко, и Ванька скидывал куртку, а дед свой древний любимый тяжелый ватник. Разморившись, Иван засыпал — дед подкладывал ему под голову его куртку и прикрывал ватником, который — Ванька слышал сквозь сон — пах грибами, лесом и дедовскими папиросами. И это было счастье — засыпать с этим самым запахом.

Возвращались под вечер и гордо выставляли перед бабкой трофеи. Та, конечно, охала, ворчала, что возиться ей не перевозиться, но

тут же принималась за чистку. А Иван без сил падал в кровать.

— Надышался, — ласково шептал дед, укутывая его поуютнее.

Лет в восемь Иван узнал некоторые подробности о своих. Бабка была москвичкой, родилась в семье зажиточной и даже богатой. И дед ее, и отец торговали холстом. Перед самой революцией развернулись — стали закупать ткани и в Персии, и в Китае, и во Франции. Торговали и кружевом — знаменитым вологодским, елецким и олонеким, бабка говорила, что наше, российское, ничуть не уступало известным заграничным. Торговали, конечно, и французским — из Шантильи и Кодри, и бельгийским из Брюгге, и итальянским из Бурано.

Открыли магазин в Замоскворечье, недалеко от дома, где жили, в Черниговском переулке. Из окна бабкиной детской была видна колокольня церкви Черниговских святых. В воскресенье девочка Маруся просыпалась под колокольный перезвон. При доме был сад, разросшийся, густой и тенистый, в конце августа в окна тянуло запахом антоновки и мельбы. Торговля шла бойко, семья богатели и строила планы.

Но — революция. Счастлирое и спокойное время закончилось. Бабке тогда только исполнилось шестнадцать. Все, что она успела, — это

окончить Елизаветинскую женскую гимназию в Большом Казенном.

Отец ее, Иванов прадед, вскоре скончался: так и не смог пережить «прелести» нового быта и новой власти. Все понял сразу. Да и мать, женщина слабая и болезненная, вскоре ушла вслед за мужем. Дядья эмигрировали в Америку, позабыв о племяннице, а единственная тетка, сестра матери, одинокая и бездетная старая дева, совершенно не приспособленная к жизни и быту, осталась на попечении девочки.

Милый родовой особнячок, с флигелем, конюшней и хозяйственными пристройками, конечно, забрали. Про магазин и говорить нечего. Про склады тоже. Марусе и тетке дали комнатку на Арбате, в Староконюшенном переулке. Тетка сразу принялась болеть — с кровати почти не вставала, а вот есть требовала. Какая еда, господи? Маруся ходила на Сухаревку и продавала то, что осталось от прежней жизни: золотой отцовский брегет на толстой цепочке, его же перстень с черным агатом, мамины сережки и колечки, свои девичьи, мелкие и скромные, украшения — цепочку с бриллиантовым ангелочком и сережки с алмазами. Зимой ушли отцовская шуба на бобровом подбое, мамины жакетка, отороченная баргузинским соболем, лиловый бархатный плащ, серебряная театральная чешуйчатая мягкая су-

мочка, все еще пахнувшая ее духами. Ну и еще по мелочам.

На вырученное там же, у спекулянтов, Маруся покупала продукты. Тетка ела много и жадно, одинокая эгоистка, привыкшая жить для себя, в старости она совершенно на себе же заиклилась. Племянница, благодаря которой она, собственно, выживала, ее не волновала. Марусю она рассматривала исключительно как добытчицу.

В двадцать втором тетка умерла от инфлюэнцы, и Маруся, надо сказать, испытала одно чувство — облегчение. Тетка была ношей не просто тяжелой, а тяжелейшей. Но, схоронив ее на Донском в семейной могиле, тем же вечером Маруся ощутила, что осталась совершенно одна — ни родни, ни друзей.

Наследство закончилось, а жить было надо. Точнее — выживать. Пора было устраиваться на работу. Только куда? Что Маруся умела? Да ничего, ничего, ровным счетом ничего. С трудом устроилась в жилищную контору в Денежный переулок, делопроизводителем. На деле — перебирала бумажки, сортировала бланки, что-то подклеивала тягучим и очень вонючим клейстером. Пальцы были синие от чернил. Но деньги платили — пусть мало, только выжить. Выжить, а не жить. И Маруся выживала.

Дед объяснял Ване, отчего у бабки плохой характер: до шестнадцати лет жила как

в раю, чисто птичка божья — достаток, свой дом, большая и дружная семья, куча родных. Пансион, шелковые платья от Поля Пуаре и Люсиль, шубки от Жака Хейма, туфельки из кожи страуса. Даже женихи уже имелись на примете, один лучше другого. А что вышло? Сиротство, нищета, холод, голод и вши. А потом одиночество. Всем пришлось горя хлебнуть, что говорить. «Но мне было легче, — говорил дед. — Я крестьянский сын, холоп, от сохи. Я воспринял революцию как благо, как подарок. Да и непривычный я был к хорошему. А Маруся была. Ей тяжелее, чем мне, было».

Познакомились бабка с дедом в двадцать третьем. Случилась любовь, ну и поженились без промедления. А чего, собственно, тянуть? По крайней мере, их теперь двое — семья, а значит, уже не так страшно. И дед, прибывший в столицу три года назад, переехал в комнату молодой жены. Маруся пыталась привить своему Пете хорошие манеры. Но получалось плохо — тот злился: «Мне сойдет и так!» Правда, учиться его заставила — сама не пошла, а его отправила, за что дед ей всю жизнь был благодарен. Он окончил строительный, сделал неплохую карьеру и оставил после себя, как говорил, «кое-что». Например, Ленинский проспект и Профсоюзную улицу. Возил туда, в новые районы, внука и гордо по-

казывал красноватые, одинаковые солидные дома на главном проспекте столицы.

На Ивана, если честно, эти ровные и одинаковые коробки с плоскими крышами впечатления не произвели — подумаешь! А вот высотки — Котельники, площадь Восстания, здание Университета восхищали. «Это тоже ты?» — спрашивал он. Дед разводил руками: «Нет, Ванька. Это не я». Вот это была архитектура, это дома! А дедовы скучные девятиэтажки... Нет, не нравились. Но деду, конечно, об этом Иван не говорил — понимал, что тот обидится.

Зарабатывал дед неплохо: в доме всегда была хорошая еда — колбаса, сыр, мясо, фрукты. Бабка ходила в габардиновом пальто с норковым воротником, которым очень гордилась. Еще она гордилась золотыми часиками на жестком браслете — браслет назывался крабом. «А про то, что у меня было, — вздыхала бабка, — я давно забыла. Так проще».

Иван помнил, что всю зарплату дед отдавал бабке — та тщательно, несколько раз, пересчитывала купюры и убирала их под стопку постельного белья в шифоньер.

Иван помнил и скандалы по поводу квартиры — бабка возмущалась, что дед, *строитель* — на этом слове делался упор и бабкин палец вздымался вверх, — живет в коммуналке, в «конуре».

Дед хмурился, уходил на кухню курить, а зайдя в комнату, говорил одно и то же: «Неудобно мне, Маша. Неудобно просить. Сколько людей живут хуже, чем мы, в бараках, в подвалах. Семей по семь человек. А мы здесь вдвоем, в самом центре — вон, все под рукой! Магазины, аптека, Садовое! Кинотеатр «Худо-жественный». Сквер, наконец! Ну чем тебе плохо? Хочешь отсюда уехать? Маша, там же ни магазинов пока, ни метро! Ты же привыкла в центре!» Бабка махала рукой, но, кажется, соглашалась. Без Арбата, без Смоленки, без любимого Гоголевского, где она гуляла с маленьким внуком, жить она не могла.

Позже Иван думал, что бабка, конечно, была права — дед давно мог похлопотать о квартире. И ему бы дали, не сомневайтесь — заслуженный строитель, ветеран труда и, в конце концов, фронтовик. Последнее, кстати, было для деда самым болезненным — его короткий и скромный путь на войне. Призвали его в срок втором, он попал на Украинский, но через три месяца все закончилось — ранение. Рана была дурацкая, как говорил он: «Так, ерунда! Подумаешь, ранение в голень!» Но вскоре начался остеомиелит, и деда окончательно комиссовали. С остеомиелитом, кстати, он мучился всю жизнь — горстями глотал антибиотики, после которых, как правило, открывалась язва.

Дед прихрамывал, но палку упрямо взял только после шестидесяти — раньше стеснялся. Иван — к сорока. Вот ведь судьба!

Родом был дед со Смоленщины, из деревни Сметанино. Уехал оттуда в шестнадцать — сначала в Смоленск, а потом и в Москву. Семья Громовых была по-деревенски большой — три брата и две сестры. Братья погибли на фронте, сестры — во время оккупации. Никого не осталось. Ивану было лет пять, когда дед его взял в Сметанино. Дом их не сохранился — сгорел. Осталась дальняя родня — у нее и остановились. Иван помнил, что тогда дед сильно напился. Он таким его никогда не видел — ни до, ни после.

Помнил Иван и деревенское кладбище, погост, — там, не стесняясь внука, дед долго и неутешно рыдал на чьих-то могилах.

Больше в Сметанино дед не ездил — говорил, что тяжело. Пару раз к ним в Москву приезжала дальняя дедова родня — троюродная сестра Мотя с племянником. Бабка рада им не была — Мотя эта была бабой пьющей.

Бабка, конечно, была человеком сложным: с одной стороны, нетерпимой, колючей, довольно скандальной — заводилась с полоборота. А с другой... Бабка была доброй, терпеливой — жалела, к примеру, соседку Нинку, неряху и скандальную хабалку, поддавуху и шалаву.

Ругалась с ней до хрипоты, а жалела. Говорила, что у Нинки ужасная судьба — муж погиб на фронте, дочка сгорела от скарлатины. И когда у Нинки начинался очередной запой, бабка убирала за нее «места общего пользования», кормила горячим супом и стирала заблеван- ные рубашки. Но как только Нинка приходила в себя, опять начинались разборки.

Жалела она и дворника Абдулу, хромоного хмурого татарина, — собирала вещи для его многодетной семьи, помогала продуктами.

Всю жизнь таскала на почту посылки — чай, растворимый кофе, колбасу и конфеты — для какой-то несчастной и одинокой подруги, кажется — в Вязьму.

Про бабкино образование Ваня узнал в одиннадцать лет. Корпел над заданием по французскому, ничего не выходило, а тут бабка со словами «Эх ты, бестолочь!» с ходу перевела заданный текст. Он обомлел — вот оно, дореволюционное образование. Да и со сложными задачками по алгебре бабка справлялась на раз. Кстати, оставались еще и бабкины книги с ятями — хранились они в старом чемодане под кроватью. В одной была закладка — длинная гобеленовая полоска плотной ткани, с вышитыми инициалами МБ, Маруся Белоголова. Потом узнал, что закладку бабка вышила в четвертом классе на уроке рукоделия.

Почти ничего от ее прежней жизни не осталось, а вот такая ерунда, как закладка, лежала себе, лежала. Правда, сохранились еще серебряные приборы с костяными желтоватыми ручками — три вилки с гнутыми зубцами, две столовые ложки и три чайные с кручеными черненными ручками. Пара тарелок — простых на вид, гладко-белых, с тоненькой серебряной каемкой по краю. На обороте написано вязью: «Завод братьев Кузнецовых». Ну и те синие с розами чашки на этажерке — из них не пили, потому что они были хрупкие, да и кое-где склеенные по выпуклому и полупрозрачному боку. Бабка всегда накрывала на стол — белая скатерть, обязательно подкрахмаленная, приборы, салфетки, тонко нарезанный хлеб в овальном блюде.

А дед, если бабки не было дома, мог поесть и «с газетки», запросто! Расстилал старую прочитанную газету и раскладывал на нее любимую килечку, крупно нарезанную и дешевую вареную с жирком, остро пахнущую чесноком колбасу — говорил, что она вкуснее. Неприглядный натюрморт украшали головка очищенного репчатого лука, или стрелки лука зеленого, или дольки чеснока — по сезону. Дед счастливо кричал, громко сглатывал слюну и приступал к трапезе. Еще он обожал тюрю — в большую миску крошился хлеб, репчатый лук и туда разбивалось яйцо. А заливалось все это «не-

потребство» квасом. Вид у этого «деликатеса» был, честно говоря, малоаппетитный, и заводил он тюрю в отсутствие бабки или тогда, когда они крупно скандалили, назло: знал, что ее трясет от самого вида этого крошева. Ел он, побрякивая от удовольствия, громко чавкая, охая и нахваливая.

Бабка, если была, морщилась, хлопала дверью и уходила на кухню. Очередное зрелище, а зрелища бабка любила. И очередное противостояние супругов.

Кстати, дед насмеялся над бабкиными кулинарными изысками — хотя какие там изыски, господи, все было предельно просто. И все же. Например, когда бабка подавала к обеду обычный куриный бульон с подсушенными белыми сухариками — гренками, как она говорила, дед тут же вставлял:

— А, у нас сегодня *консоме*, Мария Захаровна, если я не ошибаюсь?

Иногда бабка покупала «зеленый» сыр, то есть рокфор, сыр с плесенью. Дед брезгливо зажимал пальцами нос, кривился и отодвигал тарелку «с грязными носками».

— Плебей, — равнодушно замечала бабка и продолжала с удовольствием намазывать сыр на хлеб.

Бабка злилась и укоряла деда за его «деревенщину». Дед ухмылялся и переходил с ней на «вы»:

— А вы, Мария Захаровна, из дворян, надо полагать! Куда уж нам-то, со свиным рылом — и в калашный ряд! Мы манерам не обучены, миль пардон! От сохи мы, деревенщина! И, кстати, этим гордимся!

— Было бы чем! — хмыкала бабка. — Нашел чем гордиться!

Но вредный дед не успокаивался:

— А вы, Мария Захаровна, прикидываетесь! Вы ж из торгашей, если не ошибаюсь! Из лавочников, алтынников, так сказать. Папаша ваш тряпками торговал, а вы из себя графиню строите, вашу мать!

Какими же они были разными, его старики! А прожили долгую жизнь.

Но было же и еще кое-что — интимная жизнь. Дед в те годы был еще вполне крепким, стройным, красивым — что такое для мужика чуть за пятьдесят? Он по-прежнему был жилист, никакого намека на возрастное пуздо, широк в плечах и ходил быстро, широко и размашисто. А бабка уже была бабкой — с небрежно закрученным пучком седых волос с вечно торчащими шпильками, в круглых, старомодных очках, которые она вечно искала. В фартуке, войлочных тапках. Почему она так быстро состарилась? Да и какой там у них был, прости господи, секс, если на расстоянии протянутой руки спал их внук? Спал беспокойно, тревожно, потому что «израненная психика».

Рисовать Иван начал лет в пять — маленький стульчик, сделанный дедом, пододвигал к подоконнику, раскладывал бумагу, клал в ряд цветные карандаши и замирал от восторга — сейчас он начнет рисовать! Рисунки у него были не детские — никаких там пушек, солдатиков или корабликов. Рисовал он лес, поле и море. Дед тихо и осторожно, боясь себя обнаружить, вставал позади него и наблюдал. Иногда присвистывал: «Ну ты, Ванька, даешь!» Иногда подолгу молчал и странно глядел на внука, потом молча гладил его по голове.

В шесть лет дед отвел его в художественный кружок, где вел занятия Олег Викторович — молодой мужчина болезненного вида, бабка называла его чахоточным. Худющий, какой-то узкий, почти без плеч. Выражение лица у него было тоскливое и жалобное, казалось, еще минута — и он заплачет. Довершали печальную картину длинное, узкое лицо, острый нос, очки и жидкая, козлиная борода. Добавьте к этому вытянутую желтую вязаную кофту и короткие помятые брючки. Он любил повторять: «У нас, у живописцев...» Какой уж он был живописец, одному богу известно. Но учителем был внимательным и добрым.

Через год, перед самой школой, Олег Викторович вызвал деда на разговор — бабку он, кажется, побаивался, и небезосновательно.

Иван не слышал, о чем говорили взрослые, но видел, как хмурится дед и как любимый учитель в чем-то яростно его убеждает.

Этот разговор сделал свое дело: в обычную школу Иван не пошел — отправился в художественную, специализированную — так, по складам, с гордостью, говорила соседям бабка. Олег Викторович изменил его судьбу. Спустя пару лет Иван забежал в кружок проводить Олега Викторовича. На двери, где прежде проходили занятия, был повешен большой амбарный замок. Потом узнал: несчастный учитель покончил с собой, кажется — из-за женщины.

Художка — Художественная школа имени Сурикова — находилась в Лаврушинском, напротив Третьяковской галереи, куда школяров водили часто, на экскурсии или рисунок. В основном там учились дети художников и скульпторов. Но были и «с улицы» — как он, Иван Громов.

Иван был счастлив, в школу не ходил — бежал. Каждое утро поторапливал бабку — не дай бог опоздать! К его успехам бабка относилась скептически. А вот дед гордился и развешивал Ванькины рисунки по всем стенам. С его будущим все было ясно — Иван мечтал стать художником. Без вариантов.

С третьего класса провожать его бабка перестала: «Сам доберешься». А он был только счастлив — на обратной дороге из школы можно было купить мороженое и съесть пирожок с повидлом, а к тому же погонять с мальчишками мяч и потрепаться с дружкой, Ленькой Велижанским.

Ленька был толстым и наглым — так говорили учителя. Отец его был заслуженным архитектором — к школе Леньку подвозила черная «Волга» с блестящим оленем на сверкающем капоте. Вальяжно и нехотя, наблюдая реакцию окружающих, Велижанский — и вправду наглец — медленно вылезал из машины. Девчонки, затаив дыхание, провожали увальня Леньку восторженными взглядами. Обедать в столовую он не ходил — еще чего! Вяло жевал бутерброды, принесенные из дома, с белой рыбой и ветчиной. Угощал Ваньку, но тот не брал. Гордый.

Ленька был наглый, ленивый, медлительный. Но при этом добряк и остроумец, человек наблюдательный, с острым и точным взглядом.

Талантами он не блистал, но по этому поводу не расстраивался — подумаешь! Любимая фраза: «А в гении мне не надо, мне и так хорошо!» И кажется, ему и вправду было неплохо.

Жил он в огромной академической квартире с видом на Москву-реку — Иван там бывал. Поразили его не только размер квартиры, но и обстановка, и богатый антураж, а главное — домработница в белом фартучке и с наколкой на голове. Такое он видел только во французском кино.

Мать Велижанского, женщина редкой красоты, была нездорова — днями она лежала в кровати в своей роскошной спальне. Отец разъезжал по заграницам и сына не обижал — у Леньки, первого в классе, были настоящие американские джинсы «Вранглер» и кожаная куртка с заклепками. Хвастливым он не был — еще бы, с детства привычный к роскоши, воспринимал все как должное.

Иногда Велижанский Ивана раздражал, временами просто бесил. Они часто ссорились и надолго прекращали общение. Первым всегда звонил Ленька»: «Эй ты, Гром! Не остыл?»

Иван был не из отходчивых, перемирие ему давалось с трудом.

В пятом классе, когда начались серьезные занятия по скульптуре, он понял, что хочет заниматься именно этим ремеслом, по его мнению, абсолютно мужским занятием, требующим физической силы, сноровки и мужественности. А мотаться с мольбертиком и кисточками? Нет, пусть этим занимаются девчонки!

* * *

Ванины беспечные годы закончились, когда в одночасье заболела бабка — крепкая, здоровая, гордящаяся своим наследственным здоровьем: «Хилых у нас в семье не было!» И вправду, он не помнил, чтобы она болела, — всегда болел дед: нога, позвоночник, желудок. Когда обнаружилась болезнь, бабка уже стала другой — в течение пары месяцев похудела и изменилась почти до неузнаваемости. Операцию сделали, но прогнозы врачей были неутешительными — при удачном стечении обстоятельств ей отпускали год-полтора. Вышло два года — и только благодаря деду. Тот поднял на уши всю Москву и подключил всех друзей и знакомых. Оперировал бабку сам Перельман. Лекарство привозили из Германии, и бабка подолгу лежала в Кремлевке, в царских, по ее же словам, условиях.

Но все это не помогло — умерла она под Новый год, тридцатого декабря. Народу на похоронах было мало — все готовились к празднику. Да и родни и подруг у бабки не было. Убивалась только соседка Нинка — голосила у гроба так, что всем было неловко. Отец Ивана на похороны матери приехал один — к тому времени Лиля уже ушла от него, а Тонечка только-только в его жизни появилась.

Иван увидел ее спустя год — отец и Тоня приехали в Москву знакомиться. Иван помнил, как дед сказал: «Как же жалко, что Маруся не увидела Тоню! Вот бы обрадовалась! Успокоилась бы — именно о такой невестке Маруся мечтала».

Иван видел, как дед потерялся без бабки. Слонялся по комнате, подолгу стоял у окна, стал еще больше смолить — теперь запретить было некому, никто не ворчал и не ругался по этому поводу. Каждую субботу дед ездил на кладбище. Иван кладбище не любил — ему там становилось тоскливо и страшно. Но отказать деду не мог. В фотоателье дед увеличил бабкину фотографию — на ней она была молодая и, как ни странно, красивая. Иван помнил ее только старой, тучной, расплывшейся. А со старого пожелтевшего фото на него смотрела хорошенькая глазастая девушка с пышными светлыми волосами и нежной улыбкой. Несмотря на улыбку, взгляд у девушки был строгим и настороженным, очень серьезным. Уж беспечности в ней не было точно.

— Видишь, какой Маруся была, — вздохнул дед.

Иван смущенно кивнул и ничего не ответил, застеснялся.

Та Маруся ему была незнакома.

Отец и Антонина гостили недолго, всего-то неделю. Остановились в гостинице в районе ВДНХ, чтобы не стеснять деда и Ваню. И Ваня впервые в жизни не разлучался с отцом. Гуляли на ВДНХ, в Сокольниках, в парке Горького, ели мороженое в кафе «Север» и шашлыки в знаменитой шашлычной «Риони». В ГУМ поехали по настоянию Антонины, и уж там отец расщедрился — накупил ему уйму всего: от рубашек до ботинок и новых импортных лаковых красных лыж. Это были счастливые дни. А уж как был счастлив дед!

Антонина предложила пасынку уехать с ними:

— Поехали, Ванечка! У нас так хорошо! Такая природа, такое озеро! И люди хорошие. Добрые. Не то что у вас в столице.

Родная мать его с собой не позвала, а чужая женщина почти сразу. Но он отказался — учеба. Через два года институт. Да и дед — как он оставит его? Нет, невозможно. Но понимал, чувствовал, что приглашает она от души, и после поступления обещался приехать.

Мать писала нечастые короткие письма: «Как ты? Как учишься, здоров?» Про деда — ни слова. Что ж, это вполне объяснимо. Как он к ней, так и она к ним. Но он чувствовал, как формальны ее вопросы, как небрежны пись-

ма, как мало ее интересуется его жизнь. Точнее, совсем не интересуется.

Он знал, что мать замужем, родила дочь и, кажется, вполне счастлива. Что ж, хорошо. Пусть будет здорова и счастлива. Ничего плохого он ей не желал — просто чужой человек. Но ни видеть ее, ни встречаться с ней в его планы не входило.

Но встретиться им довелось, и случилось это через два года после бабкиной смерти. Мать, как оказалось, была в Москве проездом на юг — в столице им с мужем предстояло провести часов пять. Позвонила она с вокзала, и Иван не сразу узнал ее — голос ее остался там, в далеком детстве.

— Иван! — кричала она в трубку. Слышно было, как всегда, плохо, телефонные автоматы работали кое-как. — Это я, мама! Мы на Казанском, проездом! Да, да, проездом! Будем до вечера! Ты можешь подъехать?

Иван молчал, не зная, что ответить.

А она продолжала кричать:

— Але! Я тебя не слышу, Иван! Так ты можешь подъехать? Нам тебя ждать или как?

Очень хотелось нагрубить: «Или как». Но оробел, растерялся и еле выдавил:

— Да. Я подъеду.

И чуть не добавил: «А как я тебя узнаю?»

Но узнал сразу, как только увидел ее, нервно маячащую около тяжелых входных дверей.

Изменилась мать мало — такая же маленькая, худая, в дурацкой бархатной, очень провинциальной шляпке, сидящей на ней нелепо и криво, на самом затылке, вот-вот упадет. В немодном летнем пальто с высокими плечами — в Москве такие давно не носили. И почему-то в перчатках. На улице было довольно тепло, май. Зачем они ей понадобились?

При ближайшем рассмотрении Иван увидел, что она здорово постарела — мелкое и незначительное ее лицо испещряли такие же мелкие и сухие морщины.

— Что, постарела? — поймав его взгляд, усмехнулась она.

Он удивился — неужели это единственное, что ее волнует?

Разглядывала она его с интересом, но равнодушно, как чужого человека.

— А ты повзрослел, Ваня! Прямо мужик! И так на деда похож!

Он ничего не ответил.

— А как Мария Захаровна? — кажется, с интересом спросила она.

— Бабушка умерла, — ответил он.

Мать удивилась и с сомнением, словно не веря, переспросила:

— Как умерла? Ну надо же! Такая крепкая была женщина — не женщина, прямо монумент из гранита! Я думала, она многих переживет.

Иван ничего не ответил.

— А Петр Степанович как? — В ее глазах снова промелькнул интерес. — Он-то — здоров?

— В порядке, — сухо ответил Иван.

Мать кивнула и оглянулась. В глазах ее появилась тревога и, как ему показалось, неуловимый страх.

— И у меня все хорошо, — вдруг скороговоркой заговорила она. — Муж у меня, Павлик. Хороший. Дочка Леночка. Квартира хорошая — три комнаты. На юга́ вот собрались. В отпуск. — Говорила она отрывисто, короткими рублеными фразами.

— Рад за вас, — язвительно проговорил Иван, собираясь распрощаться.

Но тут из вокзальных дверей вывалился здоровый, красномордый мужик, державший за руку полную, рыхлую девочку лет десяти в пышном розовом платье с огромными капроновыми бантами на тонких русых косицах. Мать оживилась и счастливо улыбнулась:

— Мои! Павлик и Леночка!

Мужик с девочкой подошли к ним. Девочка ела мороженое, и белая липкая жижа капала на ее нарядное розовое платье.

— Леночка! — возмутилась мать. — Ну как же так можно?

Девочка посмотрела на нее равнодушным взглядом и ничего не ответила. От красномордого Павлика сильно разило спиртным. Он с удивлением посмотрел на Ивана, словно

увидел какую-то диковину, и протянул ему здоровенную лапу.

— А, это ты? — удивился он. — Ну, будем знакомы!

Руку протягивать не хотелось, но Иван уловил взгляд матери — перепуганный, несчастный, жалкий — и нехотя ответил на рукопожатие. Рука у этого красномордого Павлика была липкой и влажной.

— Лиль, ты еще долго? — обратился он к жене. — Пожрать бы, а? Да, кстати! — Он повернулся к Ивану. — Не знаешь, пацан, где здесь нормально кормят? Ну, чтобы недорого и не потравиться? Неохота в поезде дристать, сам понимаешь! — И он громко и отвратительно хохотнул.

— Не знаю, — не скрывая отвращения, ответил Иван. — Ладно, я пошел. Хорошего отпуска. — Не взглянув на мать, он быстро пошел прочь, к метро. Его никто не окликнул.

В вагоне метро прислонился к прохладному стеклу — горело лицо.

«Странно все, — подумал он. — Это же моя мать. И девочка эта с дурацкими бантами — моя, можно сказать, родная сестра. И так все нелепо. Чужие люди, совершенно чужие. И встреча эта дурацкая и тоже нелепая — на десять минут. И всё, разошлись. Наверное, навсегда. Да и ладно. Они мне не нужны». И все-таки ему казалось странным, что мать не спросила, как

он живет, что у него происходит. Какие планы на будущее, ну, и все остальное. Дежурные вопросы, которые обычно задает воспитанный человек. И как всегда, он не услышал короткого слова «сын». Но с другой стороны, что спрашивать? Разве расскажешь свою жизнь за десять минут? Да и надо ли это ему? Нет, не надо. И хорошо, что все так, его это вполне устраивает. Ее, видимо, тоже. И этот красно-мордый Павлик ей вполне подходит — гораздо больше, чем его отец. Выходит, умная бабка была права.

В ту ночь Иван не мог уснуть, как себя ни уговаривал, что все это полная ерунда.

* * *

Дед как-то сник, потерялся после смерти своей Маруси.

«Странно, — думал потом, уже став взрослым, Иван. — Ссорились много, обижались друг на друга, раздражались, даже скандалили. Оба были с характером. А без бабки, своего вечного раздражителя, жить уже не мог».

Да и быт их совсем развалился — по углам комнаты клубилась пыль, скатерть на столе стала серой, пятнистой, мятой. Белые занавески, любовно крахмаленные бабкой, тоже посерели и словно поникли. Все покрылось не только пылью, не только пахло упадком

и мертвым домом, все посерело, поблекло, поникло. Бабкина герань увяла, скукожилась, почернела, но выкинуть ее они не решились.

И вот тут активизировалась соседка, бабкина основная врагиня Нинка Сумалеева. Которая, что странно, по бабке, с которой постоянно скандалила, тосковала неподдельно и искренне, причитая громко, по-деревенски. Нинка принялась опекать «сиротинушек» — пекла огромные, тут же затвердевающие пироги, в здоровенной кастрюле варила жидкие щи, где жалко болтались сиротливые капустные листья и толстые брусочки картошки. Крутила котлеты, которые вечно разваливались и «распадались на атомы», как шутил дед. А все потому, что хлеба в них было больше, чем мяса. Нинкина стряпня была несъедобной и некрасивой на вид, но обижать ее не хотелось — давились с дедом и «хлебными» котлетами, и жидкими щами. «Щи — хоть хрен полощи», — вздыхал дед, вспоминая, видимо, бабкино «консоме с гренокáми».

Однажды Иван услышал, как Нинка уговаривает деда жениться:

— Ты еще крепкий мужик, Степаныч! Желающие на тебя найдутся, не сомневайся! Вот, например, у меня невеста имеется — в магазине со мной работает. Хорошая женщина, аккуратная, Шурой звать. Давай познакомлю?

Дед, конечно, отказался, и вскоре Нинка отстала.

Спустя почти год после смерти бабки дед с Ваней как будто впервые увидели свой запущенный сиротский быт и принялись наводить порядок — отмыли полы, окна, кое-как простирнули занавески. Дед взялся помыть бабкины чашки с синими розами, и в его крепких и сильных руках чашки треснули и развалились. Тонкие черепки звякнули в раковину. И дед заплакал.

Но и после их уборки мало что изменилось — комната по-прежнему имела жалкий, заброшенный вид.

— Значит, будем жить так, — оглядевшись, заключил дед.

Нинка ушла в очередной загул, заселилась к какому-то мужику в соседнем доме, и заботиться о них стало некому. Они, конечно, не пропали: пельмени, картошка, макароны с тушенкой. «Холостяки мы, Ванька», — грустно смеялся дед.

Он умер скоропостижно — инфаркт. Случилось это в автобусе по дороге на работу — слава богу, не дома, не на глазах у шестнадцатилетнего внука. Иван слышал, как об этом говорили соседи. В кармане дедова пиджака всегда лежал паспорт — по паспорту его опознали и позвонили домой. Иван проспал первый урок и был дома. Услышав страшную но-

вость, он почему-то захохотал. На том конце трубки ошарашенно замолчали. Он положил трубку на рычаг, опустил на пол на корточки и вот тогда разревелся. Потом узнал: истерический хохот — нервная реакция, у подростков бывает.

Дед немного пережил свою вредную Марусю. Похоронили его шумно и странно, с какой-то дурацкой помпой, на чем настояли бывшие сослуживцы. На поминках народу собралась тьма, к отцу и Ивану подходили незнакомые люди, выражали соболезнования, искренне плакали и поминали деда только хорошими словами: «Гигант». Иван тот день вообще помнил плохо. Расплывались чужие лица, рябило в глазах, стол казался непомерно длинным. В столовой стройтреста пахло картофельным пюре и винегретом.

На похороны отец приехал один — Антонина носила ребенка. Он страшно нервничал и переживал за жену — ей было хорошо за тридцать, рожать страшновато. Он уехал прямо с поминок, распрощались они с Иваном у входа в столовку. Но с собой не позвал — да это и понятно. Не до Ивана им было сейчас. Да и сам он не поехал бы — это тоже понятно. На носу выпускные, а там и вступительные. И потом, у них своя жизнь, им не до него. А у него, выходило, своя.

На дедовых похоронах, когда процессия медленно шла от могилы к выходу, к нему по-

дошла незнакомая блондинка. Она отвела его в сторону и, приподнявшись на цыпочках — Иван уже вымахал под метр восемьдесят, — жарко зашептала, что у них с Петром был долгий, серьезный и красивый роман.

— Такой, как в книгах, понимаете?

Блондинка жадно вглядывалась в его глаза, словно искала поддержки. Ивана замутило от ее крепких, назойливых духов.

— Да, да! — скороговоркой, торопливо вещала она. — Именно долгий! Пятнадцать лет. Вы мне верите? — Она чуть отстранилась, и Иван увидел, что она совсем не молода, пожалуй, пенсионного возраста. Симпатичная? Наверное. Скорее она *была* симпатичной. Ну а сейчас немолодая женщина с плохо покрашенными волосами и расплывшейся, чересчур яркой для такого печального события красной помадой.

— Я его очень, очень любила, — потушив глаза, вздохнула она. И в третий раз добавила: — Очень!

— И что вы хотите от меня? — разозлившись, как можно строже спросил Иван. — Я-то при чем?

Теперь смутилась блондинка. И, видимо, от смущения и растерянности протянула ему руку.

— Кстати, я — Татьяна Сергеевна, — проворчала она.

Он кивнул, но руки не пожал. Конечно, невежливо. Но зачем она к нему подошла? Зачем рассказала все это? Какую преследовала цель? Разворошить душу? Ему и так было очень плохо. Нет, не нужна ему эта Татьяна Сергеевна, и ее воспоминания не нужны. И вообще — дура какая-то! Надушилась, накрасилась, как на праздник.

А на поминках, устроенных бывшими сослуживцами в столовой стройтреста, где дед проработал всю жизнь, эта дура опять его настигла — вот ведь липучка! Он здорово набрался тогда — впервые в жизни — и, качаясь, вышел на воздух.

— Мне кажется, что вы мне не верите! — В ее глазах стояли слезы, и по щеке черной, неопрятной дорожкой растекалась тушь.

— А вам какая разница? — усмехнулся Иван. — Верю, не верю? Вам это важно? Да и зачем? Сейчас-то зачем?

Она хлопала мокрыми, слипшимися ресницами и продолжала бормотать:

— А Ялту, Ялту вы помните? Санаторий имени Куйбышева? Так вот, мы там были вместе! Вернее, он с вами, ну и я... Неужели не помните? Мы с Петей вместе работали — я в бухгалтерии, а он... Ну да вы знаете. Понимаете, у нас действительно все было серьезно! И если честно, я была уверена, уверена, уверена, — она горько расплакалась, — что по-

сле смерти супруги он, конечно, сойдется со мной. Но он сказал, что не может из-за вас. Не может, и все. Что вы важнее. Ну и...

— Послушайте, женщина! — оборвал ее Иван. — Да отстаньте вы от меня! И без вас тошно! — выкрикнул он и, шатаясь, пошел прочь по улице. «К черту эти поминки! Все только жрут и пьют. Тоже мне, обычай! На черта все это надо? Про деда забыли минут через двадцать — парочка сильно преувеличенных в своей печали тостов за прекрасного советского человека, и началось. Да пошли вы все!»

Потом, успокоившись, вспомнил: да, точно. Была эта тетка тогда в санатории, была. На пляже сидели рядом — вроде бы только познакомились. И в столовке за одним столом. Конечно, узнать ее было сложно — столько лет позади. Тогдашняя их соседка по столику была молодой, пышной женщиной в буйных светлых кудряшках. Вспомнил и то, что ночами дед исчезал: пару раз, проснувшись по малой нужде, он видел его пустую кровать. Испугался, кстати. Но утром дед был на месте, и Иван просыпался от его храпа. Спросил. Дед смущенно ответил, что гулял по берегу:

— Ты же знаешь, у меня бессонница.

Иван поверил. Бессонница. Теперь все понятно. Ладно, дело житейское. Наверняка дед и сошелся с этой Татьяной Сергеевной по-

тому, что с ней было попроще. Она была для него этой самой тюрей, простой и привычной едой. Хотя Иван чувствовал и обиду за бабу, и некое разочарование в деде — в абсолютном кумире и авторитете и главном человеке в его мальчишеской жизни.

«Ладно, забыли, — уговаривал он себя. — Забыли и дедову измену, и эту идиотку Татьяну Сергеевну». А потом понял, что именно так его огорчило — банальность ситуации. Если бы любовница деда оказалась более достойной, что ли? Или более интересной. А не обычной мещаночкой, бухгалтером кукольной внешности и уж совсем рядового ума.

Но за бабу стало обидно — женой она была хорошей и верной, ухаживала за дедом изо всех сил — супчики, кисельки, протертое мясо. Следила, чтобы не было обострения язвы. Рубашки и брюки наглаживала, чтоб ни одной складочки, ни одного залома. Пыхтела над утюгом, а гладить, между прочим, ненавидела.

Да, бабу была хорошей женой — пусть ворчливой, вредной, любительницей посплетничать. «Злоязыкой», как говорил дед, осуждая ее за резкость суждений. «У тебя, Маруся, есть две краски — черная и белая. Но преобладает черная!»

Но самое главное — бабу не была пошлой. Точнее, пошлости она не терпела. А вот эта Татьяна Сергеевна была именно пошлой. Во

всем. Начиная от своей кукольной внешности и нелепой попытки выглядеть моложе и кончая своим поведением на похоронах.

Ох, дед! Банальным ты оказался. Таким, как все.

Дома продолжили поминать — на этом настояла Нинка-соседка, которая рыдала и приговаривала, что если бы дед женился, то «жил бы и жил». На домашних поминках они еще здорово выпили — до четырех утра сидели на кухне с Михалом Митрофаньчем Приходько, хмурым молчуном-буровиком, который в квартире появлялся крайне редко. Закусывали Нинкиными поминальными блинами — тонкими, полупрозрачными, кружевными. Иван удивился таким кулинарным изыскам, вспомнив ее жесткие пироги и разваливающиеся котлеты.

А Нинка сказала сквозь слезы:

— Тетя Маруся научила, светлая память! — И с сожалением добавила: — Эх, слушала бы я твою бабуку! А я, дура...

Болтали с Нинкой о том о сем, и вдруг Иван, сам того не ожидая, рассказал ей про Татьяну Сергеевну. Та не удивилась, хмыкнула:

— А ты что, Вань, не знал?

— Что не знал?

Нинка опрокинула очередную стопку.

— Да гулял наш Степаныч по-черному! Наивный ты, Ваня! Думаешь, одна эта Татьяна

у него была? Ага, как же! Хорош был твой дед, ты уж мне поверь!

— А ты откуда знаешь? — хрипло спросил Иван.

— Да тетя Маруся рассказывала! Когда припирало.

— Бабка знала? — Он не поверил своим ушам. — Не может быть! Она бы не простила. И точно не стала бы терпеть!

— Много ты понимаешь! — с пренебрежением отмахнулась Нинка. — Соплив еще людей судить! Да, знала. И терпела. Потому что умная была. Понимала, что выгонит и не проживет без него. А ей еще тебя поднимать. Да и потом — если в молодости прощала, что уж в старости говорить? Да и ты к деду лип, и он к тебе. Что, разве не так? Как она могла тебя, сироту, еще и деда лишить? Да и любила она его, Ваня, — грустно добавила Нинка. — И он ее любил — не сомневайся! Просто у вас, у мужиков, любовь странная. И непонятная.

Обалдевший, Иван не находил слов.

— Да ладно! — усмехнулась Нинка. — Дело то прошлое. Ни бабки твоей — отмучилась тетя Маруся, — ни Степаньча. Что вспоминать? Жизнь она, Ваня... ох, сложная штука!

Ему стало смешно: философствующая Нинка — куда уж больше?

Снова выпили.

— Сначала тетя Маруся его не любила, — тихо начала Нинка. — Она мне рассказывала. — А дальше, конечно, привыкла — родной человек. Но вышла за него от отчаяния — не ее он был мужчина, не ее. А потом у нее большая любовь была — допрעדь деда. Хорошенький такой мальчик был, юнкер, кажется? Или юнкóр? Хорошенький, — нараспев повторила она. — Тетя Маруся мне фотку показывала — тоненький такой, плечики острые, талия тоненькая, девчачья, ремешком перетянута. А глаза грустные! И взгляд недетский, серьезный. Хотя усики уже пробились. Красивый такой пацанчик. — Нинка помолчала. — Убили его. В двадцатом, кажется. На войне? — с сомнением уточнила она. — Вот не помню. Кажется, да, на войне. А Маруся одна, с теткой хворой. Сама болела, еле ноги таскала. Говорит, что холеры боялась, инфлюэнцы, туберкулеза, вшей — мыла-то не было. А чем питались? Мороженые картошка с капустой, и то в лучшем случае. А тут Степаныч нарисовался — и собой хорош, и представитель, так сказать, правящего класса. Опять же, защита. Покоя-то девке не было, с ее-то происхождением. Влюбился Степаныч, стал пайки свои ей носить. Ну и... В общем, сам понимаешь. Так все и вышло. А вот он Марусю любил! С ума сходил, ревновал — чуял ведь. Вы, мужики, хоть сердцем

и тупые и черствые, а все равно чувствуете! Короче, и гульки его, деда твоего, были от этого. Он ее всю жизнь ревновал к тому пацанчику, с усиками. Сильно ревновал, бесился прям. Тетя Маруся сама говорила. Вот и не обижалась, терпела. Знала — никуда не уйдет, потому что любит, несмотря на баб своих дурацких. А потом сын и ты! А ты для него был свет в окне. Да и сама она потом... полюбила. Говорила, что жить без него, дурака, не сможет. А любовь это была или привычка — даже она не понимала. Наверное, все вместе.

Огорошенный, Иван молчал. Но святой образ деда понемногу расплывался и таял, как медленно, но неумолимо тает утренний туман. И потом появились обида и злость на бабу — приспособивалась, значит! Выживала! А следом прибавились обида на деда и злость на него — за что они так друг с другом? Почему так глупо распорядились своей жизнью? На что надеялись, на что рассчитывали? Стерпится — слюбится? Поглядим — посмотрим? Эх, дед! И ты, бабушка! Жалко обоих. Дураки вы, ей-богу! Ладно бабушка: спасалась, но не любила. Наверное, поэтому дед ее всегда раздражал. Конечно же, он проигрывал стройному кадету с хорошими манерами. А дед? Любил, но изменял. Утверждался?

Многого Иван тогда не понимал. А позже, когда понял, осталась одна только жалость

к обоим. Ни обиды, ни злости. Но пришло это только тогда, когда самого камнями засыпало по макушку. Когда было трудно не то что жить — трудно было дышать. Тогда их понял, тогда простил.

Бабка была верующей. Ходила в церковь, соблюдала посты. Дед — разумеется, нет. Да это и представить-то было невозможно. Но и безбожником дед не был, позднее Иван это понял. Вот, например, еще любимые дедовы присказки: «с божьей помощью» и «на все божья воля». И все-таки дед на бога не уповал — считал, что каждый человек сам творец своего счастья и своей судьбы.

Бабка мучилась страшно, молила об избавлении от мук. Говорят, что тяжело умирают только грешники. А какие у бабки грехи? Так, бытовые грешочки, по мелочи. А уходила тяжело. А дед умер легко, в одну минуту. Смерть праведника. Выходит, его грехи ему уже здесь, на земле, были отпущены? Да кто это поймет...

* * *

Так Иван остался совершенно один. Один на всем белом свете.

Коротали время с Нинкой — она и подкармливала. А он готовился — серьезно, упорно, даже рьяно. Боялся, что не поступит. Тогда — ар-

мия. А вот туда почему-то совсем не хотелось, даже перед самим собой было неловко.

Вступительные в Строгановку он сдал неожиданно легко — все оказалось так просто, что он удивился. Но, как оказалось, одного балла не добрал. Вот это был удар. Сел на скамейке в садике, закурил и... замер. Что делать дальше?

Вечером позвонил Велижанский. Отношения у них были натянутые: в десятом классе поссорились из-за ерунды, долго не разговаривали, потом вроде наладилось, но осадок остался. Вот и сейчас Ленька болтал без остановки, морочил голову ерундой, а Иван молчал. Наконец Ленька понял, что что-то не так.

— Ванька, а ты чего такой тухлый? Что-то стряслось?

— Стряслось, — мертвым голосом ответил Иван, — не прошел я, Ленька. Балл не добрал.

— Ничего себе, — пробормотал ошарашенный Велижанский, — ну как же так, брат? Ты ж говорил...

— Какая разница, что я говорил? — резко прервал друга Иван. — Ладно, хорош. Так — значит, так. Пойду отслужу, а там посмотрим! Поглядим — посмотрим, типа. — И он нервно рассмеялся.

— Не, — ответил Ленька. — Так не пойдет! С какого перепуга в армию? Не, дружище!

Я папана подключу. Для него это — сам знаешь. Как плюнуть. Сделает звоночек и...

— Не смей, я тебе запрещаю! Только по-пробуй, слышишь?

— Слышу, — спокойно ответил Ленька. — Я чё, глухой? Ладно, не кипятись! Не хочешь — не надо, хозяин — барин. Какие мы гордые, какие принципиальные! Ну и топай тогда в свою армию! Раз такой идиот!

Иван бросил трубку первым.

Спустя десять дней ему позвонили и сухо сообщили, что он зачислен.

— Как? — растерялся он. — У меня же балл?

— Да все очень просто — один из поступивших документы забрал. Вы оказались первым претендентом на освободившееся место.

— Все просто, — повторил он и медленно опустил трубку на рычаг.

В голове было пусто и гулко. Вдруг это Ленька? Думать об этом почему-то не хотелось. Стыдно, если Ленькин папаша за него просил. Очень неловко и стыдно. А если нет? Если и вправду кто-то отказался и забрал документы? Ну изменились у человека планы, бывает! Хотелось думать, что все именно так. Поэтому Леньке он и не позвонил — вдруг Велижанский подтвердит его худшие опасения. А после этого заржет и скажет, что с него, с Ивана, кабак. Вот тогда будет совсем тухло. Да, правильно, звонить не надо. Хотя, конечно... некрасиво,

что говорить, делать вид, что он сам. Но правду он знать не хотел. Пусть лучше Ленька считает его неблагодарным хамлом.

К двадцать восьмому вывесили списки групп. Слава богу, с Ленькой он оказался в разных. Нет, конечно же, встреч им не избежать, это понятно. Но все-таки так будет проще.

Из деканата Ивану позвонили двадцатого, когда до начала занятий оставалось еще десять дней. Сначала подумывал съездить к отцу и даже позвонил ему в часть. Тот подошел, запыхавшись, слышно было отвратительно, но как только он понял, о чем разговор, сразу смутился, сник, и стало понятно, что ему очень неловко. Нет, он не отказал:

— Конечно, Ваня! Мы будем рады!

Но тут же добавил, что Мишка, маленький его сынок, мальчишка беспокойный и шумный, так что покоя нет и не предвидится, уж извини. Да и стены в доме картонные. Ну и Тоня замоталась совсем, с ног валится. Все стало понятно. Сначала Иван обиделся, а потом понял: отец его просто предупредил — спокойного отдыха не получится, рыбалок и поездок на катере тоже, Антонине ухаживать за ним сложно, и это тоже понятно.

В общем, обиду погасил и решил, что будет просто отдыхать — ходить в кино, ездить купаться в Серебряный бор да просто отсыпаться!

Эти десять дней и вправду оказались прекрасными — москвичи разъехались, город притих, и стало меньше не только людей, но и машин. Да и погода стояла отличная — днем было полетному тепло, а ночью, под утро, проливался короткий, но бурный дождь, и к рассвету город был свеж, чист и умыт.

Понемногу желтели и краснели деревья, но все же стояло еще крепкое лето. Иван шатался по бульварам, которые очень любил, — Страстной, Гоголевский, Никитский и Сретенский, самый любимый. Садился на лавочку, открывал книгу или просто глядел по сторонам. Наблюдать за прохожими было интересно. Иногда доставал блокнот и делал маленькие шаржированные зарисовки. Дед с лукавым и плутовским взглядом в панаме и чесучовом светлом костюме, с длинной и тощей бородкой, похожий на Старика Хоттабыча из одноименного фильма. Молодая мамочка с прикушенной от волнения губой, нервно трясущая коляску и поглядывающая на часы, словно невеста, ожидающая у загса опаздывающего жениха. Задумчивая девочка в голубом сарафане, с очень серьезным видом и сурово сведенными бровями поедающая третью порцию эскимо.

У метро покупал мороженое и пирожки, иногда теплые калачи или сайки. Он шатался по городу и чувствовал себя таким счастли-

вым, что ему становилось неловко: ведь совсем недавно он похоронил деда! Любимого деда, самого дорогого ему человека! А оказалось, что жизнь продолжается! И к тому же она так хороша!

Теперь за него беспокоился один человек — Нинка, соседка. Ругалась, ворчала, если он приходил домой поздно. Грохала перед ним тарелкой с разогретыми и подгоревшими макаронами или разогретой же картошкой. Если он говорил, что сыт, обижалась, хлопала дверью и уходила к себе.

Иван обреченно шел к ней и извинялся. Она плакала и приговаривала, что у нее, кроме него, никого нет.

— Ты да я, — всхлипывала она, — да мы с тобой. Одни на всем белом свете. Кто еще о тебе подумает, Ваня? Кто позаботится?

Конечно, Нинкина опека его раздражала и даже возмущала. Но он жалел ее, понимая, что у нее и вправду никого нет, а заботиться о ком-то женщине необходимо.

Тогда, кстати, впервые до него дошло, что Нинка ждет приезда Митрофаньча. И понял, что влюблена она в него давно, а вот он...

— Не реагирует, — грустно всхлипнула Нинка, раскрывая Ивану сердечную свою тайну. — Не знаешь, когда явится?

Иван не знал — Митрофаньч всегда приезжал неожиданно.